

Елена Александровна Катишонок
Жили-были старик со старухой
Серия «Самое время!»

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, – повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «...Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, «вкусный» говор, забавные и точные «семейные словечки», трогательная любовь и великое русское терпение – все это сразу берет за душу. В книге есть неповторимый дух времени, живые души героев и живая душа автора, который словно бы наблюдает за всеми перипетиями героев романа с юмором, любовью и болью. Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – всё то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель...» (Дина Рубина).

Caue u Mapyce

*Автор считает своим долгом
предупредить, что все без исключения
герои — плод писательского
воображения, поэтому возможные
совпадения имен с реальными случайны и
непреднамеренны*

*Разве минувшее не родная стихия
рассказчика, разве прошедшее время
глагола для него не то же, что для рыбы
вода?*

Томас Манн

Жили-были старик со старухой у самого синего моря...

Синее море было скорее серым и находилось в часе езды: сначала на трамвае, потом на электричке, но они давно там не бывали.

Жили они вместе уже пятьдесят лет и три года.

Старик действительно любил ловить рыбу, но обходился без невода: просто шел поутру с удочкой на небольшую речку, которая текла за спичечной фабрикой, прямо за парком. Накануне привычно проверял бесхитростную снасть, засовывал тайком от старухи чекушку во внутренний карман пиджака, некогда серого, а теперь сизого от старости, и церемонно просил у правнучки-четырёхлетки жестяное игрушечное ведерко. Рыбу он, понятно, в ведерко не клал, но девочка с таким благоговением наблюдала всякий раз за его сборами, поставив ведерко на видное место, что на рассвете он прихватывал с собой смешную жестянку. Был он среднего роста, коренастый, с очень прямой спиной, хоть и ходил, прихрамывая на одну ногу. Крепкий, солидный нос покоился на казацких усах, густых и блестящих; картуз нависал надо лбом точно так же, как густые брови — над черными, блестящими и глубоко посаженными глазами.

Пряжу старуха не пряла, зато вышивала в молодости немало и с большим искусством. Ей удивительно подходило ее имя Матрона, которое в жизни звучало более заземленно: Матрена; сама она тоже соответствовала имени: статная, прямая, с округлым, но суровым лицом, на котором выделялись черные брови редкой выразительности; голос имела высокий и сильный. Впрочем, она могла бы зваться и Домной, настолько была домовитой и властной. Одевалась всегда в темные платья с вышивкой на груди, свободный покрой которых целомудренно скрывал мягкими складками оплывшие формы. Неизменный платок на голове, как и платье, чистоты был безукоризненной, отчего старуха всегда выглядела нарядно.

Было и корыто: его роль выполняла добротная оцинкованная ванна, в которой раз в неделю старуха замачивала, а потом стирала белье, глубоко погружая в мыльную пену полные руки и безжалостно теребя тряпье по стиральной доске, рельефные волны которой имитировали все то же синее море. Через пару дней рядом с диваном, на котором спал старик, она клала аккуратно выглаженную, еще

теплую косоворотку и белейшую пару нижнего.

Как они жили? Кем они были? Не всегда же звались они стариком и старухой: были ведь когда-то детьми, женихом и невестой, супругами, а затем и родителями – шутка сказать! – семерых детей, из которых двое померли во младенчестве.

Оба родились на Дону, в Ростове, и выросли в старOVERских многодетных семьях с очень сходным жизненным укладом и достатка весьма скромного. СтарOVERов в Ростове было немного, и они жались небольшой упрямой общинкой, теснимые уверенным троеперстным православием. Рабы Божий Матрона и Григорий (так звали будущего старика) обвенчались в маленькой моленной, заключив свой союз как раз накануне смены девятнадцатого и двадцатого веков. После этого, недолго думая, первыми перебрались в Остзейский край, к гостеприимному синему-серому морю, где трезвых и работающих их единоверцев встречали приветливо. Довольно скоро научились понимать на слух местный язык, а поселились в так называемом Московском форштадте, где уже больше двух веков прочно жили русские старOVERы, отторгнутые родной землей за экономию букв в имени Господа.

Здесь и начали жить они в своей первой ветхой землянке – маленьком, но уютном домике, который сняли на Калужской улице. Старику в то время было двадцать четыре года. Он знал столярное дело и любил его, поэтому сразу открыл мастерскую. Рекламе не доверял и считал баловством, да и не нуждался в ней после того, как сделал шкаф по заказу своего домовладельца. В трактире, куда иногда захаживал, свел знакомство с пожилым земляком-ростовчанином, давно уже здесь обитавшим и имеющим связи, так что в мастерской недолго работал в одиночку: нашел двух столяров-подручных.

В Ростов между тем отправили весточку о своем житье-бытье, чтоб родным было о чем подумать. Там весточка была разумно истолкована как приглашение, и пока шли озабоченные сборы, старика, который стариком еще, конечно, не был, стали уважительно именовать «Григоримаксимичем». Заказы прибывали, а с ними прибывали и приятные хлопоты: закупка материала, новые деловые знакомства, не говоря уж об устройстве дома. Старуха, тогда восемнадцатилетняя, уже была беременна первенцем.

В первом году нового века, веселым Пасхальным апрелем, в большом светлом храме был «крещень младенець женского

пола» именем Ирина. Знай родители значение имени, немало подивились бы собственной прозорливости, так точно нарекшей начало их мирной жизни. Крестным отцом новорожденной сделался старухин брат Феодор Иванович, прибывший недавно, но уже крепко стоящий на ногах; крестной матерью – Камита Александровна Великанова, достойная супруга известного благотворителя староверской общины.

Это был первый день после Радоницы. Счастливый молодой отец запер мастерскую и вместе с рабочими отправился кутить: сначала в трактир, а после, как следует отпраздновав и разогревшись, на извозчике – к центру города, в бордель, где и «угостил» обоих мастеров упитанными, надушенными пачулями барышнями в честь вышеупомянутого младенца женского пола.

Как об этом узнала мать младенца, установить так же трудно, как невозможно описать гнев, ею овладевший, когда она увидела в окно медленно подъезжавшего извозчика. Из пролетки, пошатываясь, вылез веселый муж и тут же полез в карман, чтобы рассчитаться с извозчиком и с городовым, который почтительно нес за пролеткой картуз счастливого и грешного отца. Дома он услышал от больной после родов жены немало таких слов, которые ему были знакомы, но словарным запасом молодухи из старообрядческой семьи никак не предусматривались. Ликующий, виновато-похмельный и изумленный, он все еще шарил по карманам, словно пытаясь что-то найти. И нашел: извлек на свет миниатюрную бархатную коробочку, открыл, подцепив ногтем крышку, и, поймав слабую, влажную руку жены, ловко надел на первый попавшийся палец золотое кольцо с изумрудом. После решительно грохнулся на колени, уткнувши горячее лицо в пикейное покрывало, чтобы высказать что-то благодарственно-извинительное и заодно избавить ее от перегарного духа, а потому не видел, как обида на лице жены сменилась восхищением и колечко быстро обрело свое место. Голос оставался еще сердитым, и Гришка был отослан «проспать и вымыться», однако же к младенцу был допущен, и лицо его от созерцания дочери сияло таким восторгом, что куда там изумруд. Проспавшись от кутежа, но не от восхищения, водрузил рядом с прежними новую икону *Нечаянных Радости*, написанную по его заказу в честь младенца. И впрямь – не чаял...

Так они жили уже втроем; а вскоре и ростовская жена родня начала прибывать, быстро приновляясь к другой

полосе и пополняя ряды староверской общины. Молодой столяр сделал несколько прочных скамей для моленной да пару надежных, устойчивых лесенок, чтобы удобно было затеплять лампы и свечи высоко укрепленным образом, с которых печально смотрели мудрые очи.

Работал он много и истово. Его мебель шла нарасхват, потому что сделана была любовно и остроумно, без единого гвоздя или шурупа, и украшена была вдохновенной резьбой.

К непроходящему изумлению отца дочка радостно играла на полу мастерской со стружками. Он даже не успел пожалеть, что первенец «женского пола»: будь он «мужского», можно было бы передать ремесло. Впрочем, через пять лет родился крепкий чернобровый мальчик, которого окрестили солидным именем Автоном. Коренастый, здоровый, он рос кротким и послушным, вопреки торжественному своему имени, что не удивительно, поскольку привык отзываться на теплое, почти женское имя Мотя.

Андрей появился на свет год спустя, сильно измучив мать. Он оказался таким же крепким и здоровым, как брат, но рос серьезным, задумчивым и молчаливым; это в нем осталось на всю жизнь.

Четвертые роды прошли легче, но «ясное дитя», мальчик Илларион прожил меньше года и был унесен глоточной болезнью, успев за свою коротенькую несмышленную жизнь привязать к себе обоих родителей крепкими узами любви и боли.

Следующего ребенка, еще два года спустя, мать ждала со страхом и нетерпением, надеясь унять тоску по ушедшему ясному сыночку и боясь, как бы не случилось беды с этим. Даже имя было уже задумано: Антон. Повитуха, однако, повернула громко орущего, извивающегося младенца причинным местом, отчего стало ясно: Антонина.

К тому времени землянка на Калужской и вправду стала казаться ветхой, так что они по очереди сменили две квартиры на Малогорной улице. На пересекающей ее Большегорной как раз продавали дом: две четких четверки на эмалевой табличке задорно выставили острые локти: что, мол, Гриша, кишка тонка – собственный дом?! Впрочем, продавали недорого. Взвесив все «за», обнаружили так мало «против», что быстро и купили, чтобы не передумать. Неподалеку располагалось кладбище, где нашла себе вечный покой старухина мать. Так появилось семейное кладбище Спиридоновых. Судьба – или История – не очень мудрила и

нарекала этих бесхитростных рабов Божиих столь же незатейливыми именами: старуха была урожденной Спиридоновой, от каковой фамилии без колебаний отказалась, чтобы стать Ивановой. Сами же старик со старухой были молоды и здоровы, и близость погоста никого из них не пугала.

Старшей девочке уже исполнилось одиннадцать, и она была главной и единственной помощницей матери по дому и, разумеется, нянькой для детей. Округлостью и чертами лица Ирочка очень походила на мать, только никакой суровости и властности в этом нежном лице не читалось: оно было спокойным, мягким и улыбчивым. Догадывалась ли девочка, что у отца она была любимицей, или нет, неизвестно, но не было случая, чтобы они не понимали друг друга, – и тогда, и сорок лет спустя. Она уже ходила в школу и своей страстью к учебе изумляла родителей. Сами они ничему, кроме молитв, никогда не были обучены; книг в доме не водилось. Мать, которую к тому времени все в семье, включая мужа, звали *мамынькой*, умела быть полновластной владычицей в доме, а отец знал свое ремесло, в котором аршин, опыт и вдохновенный ум собственных рук заменяли школьную премудрость. Газет, естественно, не читали и даже численника в доме не держали. Вся их жизнь, прошлая и настоящая, четко, как таблица умножения, укладывалась в стройную систему праздников и постов, так что отсчет вели, говоря упрощенно, от Покрова до Николы или от Сретения до Спаса, а дни ангела почитали важнее, чем дни рождения.

На рождение каждого ребенка старик – еще будучи далеко не стариком – кутил, ограничиваясь, впрочем, трактиром, после чего неукоснительно вручал жене то медальон на цепочке, то агатовую брошь с бриллиантом, то серьги с аметистами цвета теплого сумрака, всякий раз снисходительно дивясь ее страсти к желтому металлу. Сам он носил только простые серебряные часы на «цепке», подаренные женой на именины. Золотое свое обручальное кольцо надевал исключительно по праздникам, отговариваясь помехами при работе, что было правдой. За жену всякий раз суетливо и беспомощно переживал, когда та болела родами; детям гордо радовался, но ни разу более не испытал он такого счастливого трепета, как в том прозрачном апреле, когда взял на руки первое свое чадо.

Постные дни в ветхой землянке – среда и пятница – соблюдались строго, не говоря уж о больших постах. Трапеза была обильной и разнообразной, на это хозяйка была

большой мастерицей. Варились щи со сметками или густой грибной суп с пухлой перловкой, тускло поблескивающей не хуже настоящего жемчуга; крупная, вальяжная белая фасоль, запеченная с разноцветными овощами, а уж пирогов!.. Семья собиралась за большим квадратным столом, сработанным отцом не для одного поколения. За этим же столом, покрытым белой и сияющей, как наст, крахмальной скатертью, справляли и праздники – с молочным поросенком, словно прилегшим боком от усталости на блюдо, гусями, вспухшими от антоновских яблок, и гигантским окороком, рдеющим таким же румянцем, как лицо создательницы этих яств. Для хозяина выставлялся законный праздничный графинчик. Откушав, нанимали экипаж и ехали гулять в центр города. Отец, все еще ощущая себя *ростовскимъ* *мещаниномъ*, сознавал, однако, что для детей родным стал именно этот город, а не Ростов. Мать любила прогулки не меньше детей, да и то сказать: жизнь у нее была непростая и, при всей занятости, однообразная, хоть вой. Ведь классические женские добродетели – *Kinder, Kirche, Kitcher*, эти сакраментальные три «К», хороши, только если опираются на четвертое – кротость, а этого в Матрене как не было сроду, так и не предвиделось.

...Ей нравилось гулять по этому западному городу, так не похожему на родной Ростов; нравилось быть главной и строгой, запрещать или снисходительно разрешать, когда к солидному семейству подкатывал свою тележку мороженщик, хотя сама очень любила держать шероховатую вафельную воронку с холодными матовыми шариками. Нравилось, когда встречные благосклонно, восхищенно или с завистью провожали взглядами здоровых нарядных детей; нравилось, что на праздной руке мужа тускло поблескивало венчальное кольцо, и нравилось любоваться тайком на их отражение в витрине.

А конка!.. Матрена делала особенно строгий вид, когда дети усаживались, потом чинно занимала место рядом с мужем. Конка уносила их вдоль реки на долгую прогулку в Царский Лес, где мороженое было совсем уже особенное – не иначе как царское; а старик с наслаждением выпивал холодного пива. Они не сразу заметили – спасибо, дети обратили внимание, – как спокойную конку вытеснил электрический трамвай. Поначалу старуха не очень ему доверяла: рельсы рельсами, а ну как свалится?! Лошадей нету, одной хлипкой жердинкой держится, и то Бог знает за что... Привыкла, перестала бояться и садилась в трамвай с

предчувствием чего-то нового и радостного. Это сбывалось: рельсов становилось все больше, а когда трамвайные вагоны зазвенели на форштадте, по Большой Московской, она и думать забыла о своих страхах.

...Потом возвращались – шли по Театральному бульвару мимо пятиэтажной гостиницы «Рим», сворачивали на Александровский, по которому тренькал упомянутый трамвай, оглядая монумент то ли великого тирана, то ли великого реформатора, но в любом случае – великого. С особенной гордостью слушали они звонкий голос старшей дочки, старательно и увлеченно читающей вывески на двух языках: «Контора нотариуса», «Отель Империял», «Склад товарищества ситцевой мануфактуры», «Фабрика Бон-Бон», «Парфюмерия», «Табак». Табаку старик не курил, как старуха не ведала парфюмерии; слова «отель» и «Империял» звучали, как выстиранные пододеяльники, полощущиеся на холодном ветру; к услугам же нотариуса, слава Богу, прибегать не было надобности. Бывало, гуляли и по Старому Городу, неторопливо обходя строгое здание ратуши и углубляясь в затейливые извивы улиц и улочек, вымощенных добротным шведским булыжником.

Город все еще оставался чужим, хоть и обживался понемногу: с Александровского бульвара сворачивали на Мельничную, которая вела домой, к Московскому форштадту, уже привычному, растоптанному и разношенному. Старик уважительно снимал картуз при виде церквей с непривычными аскетическими крестами, которых в богобоязненном Остзейском крае было немало, но оба единодушно соглашались, что лучше их белокаменного храма, отражающегося золотой луковкой купола в реке, конечно же, нет.

Дома он с облегчением скидывал выходной пиджак и жилет и, вешая одежду в шкаф, искоса наблюдал в зеркало за женой. Она расчесывала свои длинные и пышные черные волосы, уставшие лежать сплетенными под праздничным платком. За эти годы он уже выучил наизусть, как она, отложив гребень, гибкими и умелыми взмахами плетет на ночь вялую ленивую косу больше чем в аршин длины, что прикинул сначала на глаз, а потом выверил: сошлось. Как всегда, на ночь затеплили все лампадки. То ли из окон, то ли от наволочек с кружевными прошвами шел спокойный аромат свежести. Не переставая зудели кузнечики, и это зуденье, хоть и громкое, убаюкивало. Июль выдался необычайно знойным даже здесь, у самого синего моря.

«На добрую память милому и дорогому брату Петру Ивановичу Спиридонову от Матрены Ивановны и на память от Григория. Быть может, больше не увидимся. Я уйду на войну», – написано на обороте фотографической карточки. Лицо старика ничего, кроме хмурого раздражения, не выражает. Старуха здесь покорная (что затрудняет сходство с оригиналом), смятенная и потерянная. Самым решительным выглядит старший сын, стоящий впереди так, словно оба нарочно подталкивают его: ступай.

14-го июля была объявлена мобилизация, потому как земля была хоть и не русская, а все же Россия, ибо входила в Империю вот уже ровно двести лет и четыре года. Памятник Великому на Александровском бульваре озабоченно и хмуро демонтируют, в то время как старуха собирает мужа на войну. Уложила белье, сверкающее и мытьем, и катаньем, гирлянду сушек в льняном мешочке, издающих веселый кастаньетный стук, и неизбежное льняное же вышитое полотенце, а сняв с вешалки столь неуместную сейчас выходную жилетку, остановилась. Муж вошел в комнату с таким же точно лицом, как на фотографии, и она вдруг кинулась к нему: «Гриша!..» Так стояли они, обнявшись: не старик и не старуха – Гриша и Матреша – и знать не знали, как им жить дальше.

Мешок, заботливо собранный женой, старику не пригодился, как и сам он оказался не пригоден к армейской службе, не говоря уж о войне, по причине единственного пломбированного зуба. Он выслушал объяснение пожилого фельдшера, застегнул рубаху, аккуратно высвободив зацепившийся за пуговицу крест, и вышел на улицу, бормоча в усы: «Мать Честная, Пресвятая Богородица!..», и не помнил, как ноги донесли до дому. Ничего не зная об этой войне, он знал только, что на любой войне убивают. Не боялся, что его убьют, – боялся убить. Ни трусом, ни храбрецом старик не был, а боялся по одной-единственной причине, простой и понятной: убивать нельзя. Всегда твердо это знал, а сейчас с каждым шагом ощущал кожей прикосновение креста под натальной рубахой.

Немцев в городе еще не было, хотя вражьи корабли заняли ближний порт; стало быть, скоро будут здесь. Витрину немецкого оптического магазина «Генрих Краузе и Сыновья» в Старом Городе безжалостно разгромили местные патриоты и их сыновья. Ира звонким голосом читала из газет

про Бог весть где существующую Сербию, так ощутимо близкую Германию, и что царь клялся на Евангелии воевать до победного конца.

Из всего стало ясно одно: отсюда надо уезжать, а куда, тоже понятно – в Ростов, конечно, куда ж еще. Там все родное и привычное, у обоих остался кто-то из родни, не говоря уж о том, что старику давно хотелось показать отцу с матерью внуков, всех сразу. Вскоре у неразобранного мешка с сушками появилось солидное соседство. Еще бы – самих двое да пятеро детей, а как бросить нажитое?! Старик запер «собственный дом, номер 44» и мастерскую. С соседями простились скоро – многие уже эвакуировались. Отстояв службу Успения Богородицы, вся семья получила благословение батюшки, которое и помогло не потеряться, не отстать от поезда и не быть оттерту в неописуемых мирных батаях эвакуации, а прибыть в родной Ростов и легко отыскать брата Петра Ивановича, так и не получившего фотографическую карточку по той причине, что не была отослана.

Жилье нашлось вполне сносное. Приодевшись (не зря Матрена сунула в один из узлов выходную жилетку, не зря!) и нарядив детей, отправились к деду с бабкой. Ни деда – дедом, ни ее – бабкой, впрочем, признать было невозможно. Зорким женским глазом Матрена заметила, что кудри у свекра поредели, а сам будто подсох немного, только кисти рук стали крупнее, что ли; усы приглаживал тем же движением, что и муж. Он же, обнимая мать, чуть было не поднял и не закружил ее, как делал с дочкой: щуплая, цыгановатая, она осталась такой изящной, что осознать ее матерью двенадцати детей, воля ваша, было никак невозможно. К тому же называл ее свекор теплым и ласковым именем «Ленушка», а когда она стремительным и гибким движением сняла платок – примерить новый, подаренный невесткой, – стали видны черные густые волосы, нигде не прочеркнутые сединой. «Ишь, что копченая», – со странной ревностью подумала Матрена, сравнивая налитую тяжесть своего молодого кормящего тела с неуместной девичьей стройностью свекрови. С удовлетворением убедилась, что ни в ком из детей, слава Тебе, Господи, сходства с нею нет, да и живут... не близко. Это примирило ее с мужниной родней окончательно. Застолье удалось; милости просим к нам.

Трое старших детей на правах беженцев были устроены кто куда: Ирочка стала жить в пансионе, Мотя с Андрюшей попали в училище, где обучали ремеслам, в том числе и

столярному делу.

Вот неделя, другая проходит. У младшего резались зубы; Тонька была ребенком подвижным, что называется, «живое серебро», и Матрена от всего этого, а также от непривычного быта измучилась. Время от времени, всегда внезапно, появлялась «Копченая». Быстро и ловко, не слушая Матрениных уязвленных протестов, простирывала детское и буквально вытаскивала ее из дому: сходи, развейся. Поджав губы, та хватала корзинку и отправлялась на базар, который базаром звался только в Городе, а здесь – звонким, набатно медным словом майдан. Возвращалась она действительно отдохнувшей, со свекровью разминалась в дверях, не успев вслух ужаснуться ценам на майдане, а дома ждали накормленные, чистые дети, горячие чугуны в печке и еще не просохший пол. Домовой, бормотала Матрена, ставя корзинку, чисто домовой.

Старик в поисках работы уходил рано. Он стал непривередлив и брался даже за мелкий ремонт, но и такую работу стало находить все трудней. Ростов, куда они так стремились, менялся с каждым днем, с каждой приходящей – и проходящей – неделей. Он скучал по старшей дочери, которую видел только раз в неделю, и ему казалось, что за эту неделю она еще больше похудела. Говорят, время видно по маленьким детям. Что ж – Симочка ходил, что прибавило Матрене хлопот, а Тоньке уже заплетали тонкие волосы в косичку. Ира на глазах становилась барышней. Она прибежала в воскресенье, после заутрени, и хлопотала допоздна, виновато помогая матери и стараясь сделать как можно больше. Однако той становилось все тяжелее, да и скудная еда сказывалась. Симочку, любимца, пришлось отнять от иссякшей груди, когда ему только-только стукнул год, и у матери навсегда осталось чувство виноватости, словно недодала самого насущного по своей прихоти или недогляду.

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена... —

пела Ира, развешивая белье. Старику было жаль всех: и друга, и жену, и «самого героя» – этих героев стало появляться на улицах все больше, а сколько их лежало в больницах, а сколько полегло Бог весть где... И про это тоже пела дочь:

...То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Слово «жертва» из песни было, в сущности, самым верным и определяло всю их жизнь. Война шла уже не только в окопах, но и в воздухе, что было совсем страшно, потому что непонятно. Пожилые сестры милосердия с подписными листами в руках, в развевающихся косынках, все чаще стучались в дома, останавливали прохожих на улице: «Жертвуйте...» Предлагалось жертвовать «детям воинов», «семействам павших», «на табак солдату», «на призрение вдов убитых воинов» и даже «на переносные бани солдатам в окопы». Ирочка призналась, что у них в пансионе идет сбор пожертвований «На книгу солдату», и отец не смог отказать, хотя не понимал, на кой им там, в окопах, книги?...

Теперь он уходил искать работу засветло, а возвращался в потемках, но аршин оставался праздно лежать в кармане – не нужна была ростовчанам мебель штучной работы, даже и с резьбой; да и никому сейчас не нужна была. Нужен был хлеб, который стремительно дорожал и норовил вовсе исчезнуть: лавки закрывались, и люди ездили за мукой по дальним станциям. Теперь никто мешками, как прежде, муку не продавал; только стаканами. Да и вообще продавали, как и покупали, всё реже: с деньгами творилось что-то непонятное, ибо свою осязаемую ценность, то есть способность купить, они стремительно теряли, и майдан жил главным образом обменом.

Слава Богу, что в тот день он пришел пораньше. Двое младших сидели под огромным клетчатым платком и замороженно слушали мать. Жена расчесывала дивные свои волосы и так-то весело рассказывала, что дров в эту зиму им не надо, жарко! А первым долгом, расчесав волосы, отправятся они в новый парк на Елизаветинской, да от солнца чтоб зонтик не забыть – не дай Бог, напечет, уж как палит, как палит, точно печка. На дворе стоял ветреный ноябрь, и старик недоуменно остановил ее руку с гребнем: «Мамынька?...»

У мамыньки оказался тиф. Сестра милосердия быстро выпроводила старика и детей приводить не велела. Старшая, однако, прибежала и долго плакала, обняв истаявшие ноги матери, после чего и случилось самое страшное: свалилась в тифу. Старик отвез младших к деду с бабкой и отныне

каждый день, помолившись Богу и торопливо выпив стакан кипятку, спешил в больницу. Ни к старухе, ни к дочери было нельзя, но заставить себя уйти он просто не мог, и сестры милосердно не гнали его. Сам заболеть не боялся, даже не думал об этом ни секунды. Дома, перед сном, горячо и гневно молился, обещая все имение свое, лишь бы...

Перестал замечать, как меняется Ростов; ему казалось только, что родной город обесцветился, несмотря на обилие ярких плакатов, все так же призывающих жертвовать, жертвовать, жертвовать... А может, обилие выгоревших солдатских шинелей сделало город бесцветным. Если столько солдат в Ростове, то сколько ж их на фронте? И не додумывал эту мысль до конца: боялся только, что потребуют от него *главной* жертвы.

Засыпал с радостью – еще один день прожит! В Ростове начал видеть сны; просыпаясь, изумлялся, насколько сны эти походили на горячечный бред жены. Снился Город, но не праздный, нарядный центр, где они гуляли до войны, а их Московский форштадт, домик на Больнегорной, и как он ладит новое крыльцо, чтобы брюхатая мамынька, упаси Господь, не оступилась. В мастерскую шел мимо кладбища, пылил сапогами по песку; сразу за высокими кирпичными воротами начинался спуск на Двинскую, ведущую в просторный подвал, заваленный свежими стружками. Во сне нужно было чего-то ждать: то ли материал вот-вот привезут, то ли рабочие задерживаются. С Большой Московской доносятся стук лошадиных копыт и скрип колес. Старик мечтал туда переехать, даже и дом присмотрел: высокий, каменный, на углу с Католической.

Сон таял на рассвете, непременно что-то оставив и перенеся в Ростов: вот за окном проехал парный экипаж со скрипящими колесами, а в памяти затухали чьи-то слова, непонятные, как и полагается во сне, но на знакомом протяжном языке...

Когда его допустили к выздоравливающей жене, он поражен был не глубиной запавших глаз и не татарскими скулами, а – воспоминанием, как она расчесывала волосы в последний раз: больше расчесывать было нечего.

Ирина болела долго; уже не чаяли. Из больницы вышла сразу после Крещения, с такими же, как у матери, невесть откуда взявшимися скулами, и обритой головы своей очень стеснялась.

Из-за этих постоянно дежурящих смертей (у Иры был и возвратный тиф) старик потерял способность понимать, что

происходит вокруг, хотя происходило столько, что с лихвой хватило бы на десятилетия безвременья. Солдат на улицах становилось все больше, а милосердные сестры уже не собирали пожертвования, а выхаживали раненых. Жизнь, как и война, стала для него одним нескончаемым тифом с пугающим бредом из новых странных слов: *жмых, мешочник, заем, дезертир, пшенка, спекулянты, теплушка...* и вдруг, особенно звонко: *родзянка!* Что такое *этародзянка*, Мать Честная?! Бывало, что этот ужас просачивался и в спасительный ночной сон, и тогда не было покоя. Нет, сначала шло, как всегда: Город, будто бы пятница, и мамынька собрала ему белье в баню. Отчего-то сильнее, чем всегда, вязли сапоги в уличном песке; да баня-то рядом, надо только на Витебскую свернуть. Он и свернул, но бани не увидел, а вместо бани не то конюшня, не то амбар необъятный какой-то; главное, однако, что внутри темно, а куда уходит эта темнота, Бог весть, и сердце тоскливо сжалось. Уйти бы совсем, но чтобы уйти, надо к *этому* спиной повернуться, а сапоги как приклеились и все глубже в песок уходят. Главное, он помнил, чтоб ворота не закрыли; тогда конец. И руки заняты – узелок с бельем, да тяжелый какой! Что ж там такого тяжелого, Мать Честная? Развязать бы, да некогда, вот-вот ворота закроют, бежать надо, да куда бежать-то?! Вдруг словно подтолкнул кто-то: а в мастерскую, мастерская ведь рядом! Весь в поту, задыхаясь от невероятных усилий и страха, он выдернул – не сапоги, нет: ноги, – на едином вдохе повернулся и бросился в еще открытые ворота, боясь оглянуться. Босиком побежал по совсем чужой Витебской, один квартал только до мастерской, и влетел в подвал, все еще сжимая в руке узелок. Стружки ласково щекотали босые ноги, вещи целы – мамынька не будет ругаться, и старик как-то сразу успокоился. Надо работать, раз уж в баню не попал; а сапоги – дело наживное. Подойдя к верстаку, повел рубанком по доске: *жмых-жмых-жмых!* От этого звука и проснулся, содрогаясь от омерзения к вышедшему из повиновения рубанку.

Непонятно было все, куда ни оборотись. Царь, который клялся на иконе и на святом Евангелии воевать до последнего, был где-то безнадежно далеко, а кто поговаривал, что его уж и вовсе не было. Наверное, поэтому воевали теперь не только с немцами, а и с кем попадая, и даже друг с другом, отчего, должно быть, часто менялась власть. Она врывалась в город одинаково бесцветными шинелями, но была диковинным образом окрашена в цвет своих знамен,

точно солдаты сговорились играть в неизвестную игру, где все воевали противу всех.

Так проходила неделя, потом другая. Изменилось время, а у нового времени появились свои, иные, приметы: вороха бумажных денег разного вида и цвета, но одинаково бессильные что-то купить; гармошка, удивленно ахающая на дворах и завалинках, на майдане, на вокзалах; поезда, идущие Бог знает куда... Людские судьбы, да и сами люди мчались, катились стремительно куда-то, словно яблоки из перевернутой корзины, – в пыль, в канаву, в бездну. Песен про ужасы войны уже не пели – такие песни для гармошки не годились; придумывали новые, да и не песни вовсе, а – так, припевки, которые даже не пели, а кричали, ухая, точно капусту рубили. Сколько их было, припевок этих, и все пели по-разному, а называли одинаково: «Яблочко». Случайно?...

Эх, яблочко,
Недозрелое —
Красна армия
Гнала Белую.
От станции
К полустаночку —
Полезай ко мне
На тачаночку.

Раз услышанный, примитивный и навязчивый мотив долго и беспокойно зудел в голове, да и не удивительно: пели везде, под гармошку или притоптывая, а чаще – вместе, и даже шелуху от семечек, казалось, сплевывали в такт.

Эх, яблочко,
Черны семечки —
Все рядом легли
Да у стеночки.

Впору было бы отредактировать Владимира Красное Солнышко, что отныне «веселие Руси есть пети», а может быть, как раз это и сделал новый правитель страны, тоже Владимир, и тоже – красный.

Эх, яблочко,
Да румяное —
Комиссары
От крови пьяные...

Матрена была совсем слаба, и он сам собрался на майдан – кое-какие деньжонки еще сохранились из тех, царских, которые только и оставались пока подлинными деньгами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru